РОМАН

МЕДНЫЙ ЯЗЫК



Спи, гора, не буди Сорок глоток.

Станислав Петров

Медный язык

«Автор»
2026

Петров С.

Медный язык / С. Петров — «Автор», 2026

1927 год. В замкнутую соляную котловину Кальдара, где поезд приходит на полдня позже, а воду продают кружками по счёту, приезжает Вера Стрешнева — инженер-геофизик, нанятая искать воду для железной дороги. Вера глуха на левое ухо, но единственным слышащим ухом различает, как дышит вода под станцией и как поёт медь на востоке, за белой солью.Девятьсот лет назад здесь жили кальдары — гидравлики и звонари, умевшие добывать воду из ветра. Под городом тянутся кяризы, в скалах стоят Сорок Глоток — медные рупоры, а в сердце ущелья висит девятитонный Медный Язык. Тот, кто ударит в него в новолуние, закроет единственный перевал — и котловина останется без дороги и без воды.За Языком начинается охота. Директор железной дороги не верит в легенды, но верит в патент и монополию; старый учитель Веры готов заплатить за открытие целой долиной. А между ними — проводник Асан, шофёр, слепая старуха из мёртвой деревни и мальчишка-вор.В Кальдаре воду не находят. Воду соглашаются услышать.

© Петров С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Сорок глоток 5
Карта, которой нет 9
Кузьмин 14
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Станислав Петров
Медный язык

Сорок глоток

Поезд шёл последние девять вёрст со скоростью пешехода, и всё это время из-под колёс, из щелей вагона, из тамбура несло белой пылью. Она садилась на сукно, на руки, на страницы газеты, которую Вера держала, и не отдиралась. Кондуктор проходил дважды и оба раза делал одно и то же: снимал с крючка чайник, прижимал пальцем носик, чтобы не булькал, и вешал обратно. За окном стоял такой же белый плоский свет, как в начале пути, только теперь внизу, между шпалами, лежала соль.

— Конечная, — сказал кондуктор без выражения. — Пристань Кальдар.

Вера села, надела куртку, но носить её было жарко, и она понесла её на руке. В тамбуре воздух был плотный, солёный, с запахом гари и шерпи; платформа дёрнулась под ногами и выровнялась. На неё пахнуло, как из раскрытой печи, только печь была белая.

Станция называлась «Кальдар». Буквы на навесе выцвели до цвета старой кости, и вместо «а» в первом слове темнела дырка. Вывеска висела на двух проволоках и тихонько звенела на ветру — звенела, потому что в ней от ветра стояла трещина. Под навесом, на скамейке, сидели трое в полосатых халатах и смотрели, как сходит пассажир: один, женщина, с чемоданом.

Часы на вокзале не имели стрелок. Под круглой выбеленной крышей сиротливо торчал ржавый ободок, и в нём было пусто, как в колодце. Вера посмотрела на часы, потом на солнце. Солнце стояло высоко, чуть на запад, и тень от навеса была короткая, с одной стороны скамейки. Значит, полдень прошёл. Значит, поезд, который должен был прийти в шесть утра, пришёл в половине второго дня, и оба изыскателя, которых она должна была встретить на перроне, уехали или ушли.

Она поставила чемодан на землю, села на него и прислушалась.

Звук приходил с двух сторон. С одной — вокзал: слабое, на грани различимого, тиканье чего-то маленького, похожее на ходики в комнате сардара, а может, и просто кровь в ушах. С другой — рельсы. Они пощёлкивали: металл остывал, стыки расходились, и щёлканье шло по линии, как рассыпающийся горох, в обе стороны сразу, тихо, честно, без обмана. Вера любила этот звук. Он не значил ничего, кроме того, что железо живое.

Она достала из кармана кожаный чехол, вытащила из него «слушалку» — деревянный цилиндр размером с очешник, с латунной перепонкой на одном конце и грушей-наконечником на другом — и, оглядевшись, положила перепонку на платформу, на камень, у скреплённого болтом стыка рельса. Присела на корточки. Приложила ухо — правое, единственное слышащее — к деревянному обручу.

Внутри камня был ход.

Не сразу; сначала пустое, ровное гудение камня — камень, в общем, честно говорящий: я камень, подо мной камень. Потом в этом гудении — мягкая, глубокая, рваная по краям полость. И в полости — вода.

Она открыла глаза. Мимо по платформе шёл носильщик с телегой, телега была с досками, колёса стучали по камню, и стук шёл сквозь пол — Вера убрала слушалку, встала, разогнула спину.

— Эй, — сказала она носильщику. — Где смотритель?

Носильщик махнул рукой в сторону вокзала — неопределённо, на всё здание сразу.

— Вон.

— Станционного. Смотрителя.

— Обедает, — сказал носильщик и, поколебавшись, добавил: — А вы кто будете?

— Инженер. — Вера оглядела телегу, перила, край платформы. — Вот тут, под камнем, вода. На глубине трёх саженей, сажень влево от стыка. Найдите смотрителя, пусть придёт с людьми и лопатами. Прежде чем вечер станет ночью, надо вскрыть.

— Вода? — носильщик посмотрел на пол, потом на неё. — Тут воды нет. Тут соли. Вся вода — с севера, поездом, в бочках.

— Под платформой — есть. Найдите смотрителя.

* * *

Смотритель оказался толстым человеком в белой рубахе и в милицейской фуражке без кокарды; звали его Артюхин, и это было всё, что о нём сказала вывеска на двери. Он выслушал Веру, глядя мимо её лица, на перрон, где уже собралось человек пятнадцать зрителей.

— Под платформой? — спросил он. — Пустота? И вы это... на слух?

— На слух.

— А как же... — он неопределённо повёл рукой. — Говорят, надо на левое ухо класть.

— Левое у меня не работает с семнадцатого года, — сказала Вера. — Работает правое. Копать будете?

Артюхин посмотрел на зрителей — зрители смотрели на Веру; потом на телегу с досками; потом в небо, как будто там был начальник. Начальника в небе не было.

— Копнём, — сказал он наконец. — Разбойничий это метод, не инженерный. Но копнём. Копать!

Копали четыре человека, и работали они с той особенной, обиженной тщательностью, с какой мужики копают, когда уверены, что им морочат голову. Ямка стала ямой, яма — колодцем, час пошёл на второй. Вера сидела на чемодане и пила воду из фляги — вода была тёплая, с привкусом железа, — и рассказывала зрителям, которые уже осмелели и подсаживались, что соль грызёт камень, что платформа стоит на старом подземном ходе, что ход этот провели люди, которые не боялись копать в камне, и что где ход — там и вода. Зрители кивали из вежливости. Один старик, соляной старатель, с глазами, выеденными белым светом, сказал тихо:

— Глотки.

— Что? — сказала Вера.

— Сорок глоток, — повторил старик. — Под землёй. Пьют. Куда они пьют, туда вода и идёт.

Он отвернулся и больше не смотрел на неё; он смотрел на восток, где над белой солью стояла синяя гряда, и гряда эта была похожа не на горы, а на спину большого зверя, ушедшего под землю и уснувшего.

На глубине трёх саженей лопата стукнула.

— Пусто! — крикнул копальщик.

— Лей воду в шурф, — сказала Вера, подходя. — Стакан. Посмотрим, куда пойдёт.

Воду влили — и в маленьком колодце, на глубине, глухо и голодно, как в пустой бочке, отозвалось. Отозвалось и не утихло: звук ушёл вбок, под платформу, под рельсы, в темноту. Толпа ахнула. Артюхин стянул фуражку.

— Матка божья, — сказал он. — Под всей станцией?

— Под частью станции, — сказала Вера. — И не «матка божья», а цистерна. Кальдарская. Им девятьсот лет, и они держали воду под землёй, а не над ней. Отдайте мне чертёжную бумагу и дайте вскрыть кладку — я покажу, где вода, и построю вам водокачку за месяц.

Артюхин мял фуражку.

— Мне надо в контору, — сказал он. — Без бумаги с печатью я вскрывать не могу. Вы понимаете. Вскрытие — это уже... — он замолчал, подбирая страшное слово, и выбрал самое страшное: — Это уже реконструкция.

* * *

Контора Общества Кальдарской железной дороги стояла на возвышении, в трёхстах шагах от вокзала, — каменный двухэтажный дом, белый, с зелёными ставнями, с флагштоком, на котором флага не было. Возле крыльца стоял серый автомобиль с открытым верхом; шофёр спал, сидя, положив руки на руль, как на покойника, — Вера смотрела на него и думала, что так спать в машине учатся на войне.

В приёмной пахло воском, бумагой и остывшим чифирём. Секретарь, молоденький, с изъеденным оспой лицом, сказал «одну минуточку» четыре раза, потом провёл её через зал с большим столом, за которым никто не сидел, в маленькую комнату с картой на стене.

У карты стоял человек в белой холщовой куртке, лет сорока, с лысиной, начинавшейся от темени, и с глазами усталого бухгалтера.

— Инженер Стрешнева, — сказал секретарь и вышел, прикрыв дверь.

— Феликс Артурович Бриг, — сказал человек в куртке. Он не предложил руку и не предложил стул; он просто стоял и смотрел на неё с любопытством, с каким смотрят на поворот погоды. — Вы нашли воду под вокзалом.

— Нашла пустоту, в которой вода.

— Под вокзалом, — повторил Бриг. — Под самой дороги, Стрешнева, под самой концессией. Вам не кажется, что это неприлично?

— Вода не знает приличий, — сказала Вера. — Она там, где её давно оставили.

Бриг сел за стол, открыл ящик, достал папку.

— Вам поручены изыскания. Тридцать дней, семьдесят пять рублей — извините, семьдесят пять золотом, — проводник, повозка, снаряжение. Задача: вода для трассы. Трасса идёт через перевал, перевал — там. — Он ткнул карандашом в карту. — Здесь станция, здесь вы. Здесь, — карандаш провёл синюю линию на восток, от солёного озера вверх, в горы, — река Сухая Кальдара.

Вера встала и подошла к карте.

— Здесь реки нет, — сказала она.

— Я знаю, что здесь реки нет.

— Здесь, — Вера провела пальцем по синей линии, — солончак. Белый. Его видно за девяносто вёрст. По нему никто не ходил, потому что там нечего пить.

— Знаю.

— Тогда что это?

Бриг положил карандаш.

— Это работа господина Кузьмина. Инженер-изыскатель. Он десять месяцев ходил по котловине и нанёс эту реку. В мае он вышел из Ак-Сарая и не вернулся. Прошлый месяц мы считали его пропавшим. Сегодня утром телеграммой из Соляного Поста нам сообщили, что его нашли. — Бриг поднял глаза. — В воде.

Вера молчала.

— В воде, — повторил Бриг. — В том месте, где его карта обозначает русло. И я скажу вам честно, инженер, то, что не говорю никому: если вы посмотрите на эту реку и не найдёте, откуда она взялась, я с вас контракта не сниму, но я перестану спать. Концессия строит дорогу четыреста вёрст. Дорога стоит на воде. Если воды нет — дороги нет. Если река выдумана — я не знаю, кто и зачем её выдумал. Это плохой вопрос, Стрешнева. Мне не нравятся вопросы, на которые я не знаю ответа.

— А кто ещё не знает ответа? — спросила Вера.

— Господин Дорн, — сказал Бриг. — Научный консультант Общества. Он приезжал в мае, до Кузьмина. Он, кажется, знает ответ, но молчит. С чужими людьми он вообще плохо разговаривает. — Бриг встал. — Контракт подпишете завтра. Завтра же вам выдадут повозку и проводника. До того — не ходите на склады и не говорите с рабочими о реке.

— Почему?

— Потому что на складах платят солью, а соль — это вода, которой не было. — Бриг провёл ладонью по лысине. — Я был бы вам признателен, если бы вы не делали из этого события.

* * *

Вечером Вера сидела в номере гостиницы «Три Ветра» — узкая комната, кровать, стул, стол, окно во двор, где до темноты били барабаны по железным вёдрам, — и раскладывала на столе записную книжку, купленную у старика-старателя за чашку чая. Книжка была не её. В книжке была чужая рука, твёрдая, инженерная, с наклоном влево: «Шурф 14. 22.05. Вода с глубины 6. Жив.» — и дальше, через страницу: «Гудение в камне. Нота ниже ля на октаву с четвертью. Стакан на подоконнике ходит.» — и ещё, на другой странице, торопливо, буквы ложились друг на друга: «Не гора поёт. Гора слушает.»

Вера сидела над книжкой час. Потом положила её, закрыла глаза и постаралась не думать про отца. Не думать про отца у неё получалось плохо и только днём.

Под полом гул стоял уже третий раз.

Первый раз она приняла его за телегу. Второй — за паровоз, который швартуют в депо. Третий раз гул пришёл, когда депо молчало, и это был не звук, а дрожь: вода в кувшине на столе заволновалась, и по кувшину пошли кольца — не от руки, от самого себя.

Вера встала. Сняла ботинки, чтобы не стучать каблуками. Вышла в коридор — коридор был длинный, с лампой на конце, лампа мигала. Напротив, в комнате, кто-то курил, и сквозь дверь тянуло крепким дешёвым табаком.

Гул поднялся. Он шёл из-под пола, из самой середины гостиницы, и он был такой высоты, которую не слышат, а чувствуют в костях — Вера чувствовала его в челюсти и в грудине, и стёкла в окне тихо, жалобно пели.

— Эй, — сказала она в дверь напротив. — Вы слышите?

Дверь не открылась. Из-за неё сказали:

— Что слышу?

— Гул.

— Гула нет, — сказали за дверью. — Тихо. Но окна дрожат, это от ветра.

Вера подняла руку к окну — стекло дрожало так, что палец чувствовал его, как дрожит крыло птицы, когда её держат в ладони. Ветра не было. Лампа в конце коридора стояла неподвижно.

Гул ушёл вниз, под землю, и умолк, и в наступившей тишине Вера ясно, в правое ухо, услышала, как на востоке, далеко, за белой солью, за синей грядой, поёт медь.

Она стояла в коридоре босиком и слушала, как поёт медь, и от этого пения у неё заледенели ступни, потому что медь эта пела ноту, которую она знала: ноту, на которую настроен камертон её отца, — только на полторы октавы ниже.

Старик со соляных ям сказал про глотки. Книжка говорит: не гора поёт — гора слушает.

Вера вернулась в номер, села на кровать и стала ждать утра, чтобы утром поехать на склады, где нашли в воде инженера Кузьмина.

Карта, которой нет

— Дорн, — сказал человек. — Ксаверий Львович Дорн. Мы с вами, кажется, знакомы, дитя моё. Ты выросла.

Вера не двинулась с места. Свеча в её руке потрескивала, и по коридору, кнутом, потянул сквозняк из отворённой двери. За восемь лет многое можно успеть: она успела закончить два института, переболеть тифом, замёрзнуть на Оби и разучиться вздрагивать. Вздрагивать она разучилась, но сейчас что-то под рёбрами всё-таки сделало короткое движение, как рычаг на полоборота.

— Ксаверий Львович, — сказала она. — Вы мертвы. Вернее, так писали в ведомости.

— Ведомости пишут многие, — сказал Дорн. — Возьмите свечу повыше, вам не удобно. И пойдёмте вниз: внизу теплее и слышнее.

— Откуда вы знаете, что мне слышнее?

— Оттого, что вы стоите в коридоре гостиницы в третьем часу ночи в сапогах и с деревянной трубкой в руке. Проживёте со мной неделю — я начну угадывать и погоду.

Он повернулся и пошёл вниз, и Вера осталась стоять на площадке со свечой. Гул под полом не повторился, но тишина была из тех, от которых ждут. Вера погасила мысль бежать к себе и запереться — в тридцать три года это бессмысленно. Она догнала Дорна на первом этаже.

— Двадцать лет, — сказала она. — Вы пишете ведомости, пропадаете, приходите в третьем часу и говорите «дитя моё». Что вам нужно?

— То же, что вам, — сказал Дорн, не оборачиваясь. — Оно под нами. Пойдёмте.

* * *

Ключ от подвала гостиницы «Три Ветра» висел у Дорна в кармане, и Вера спросила об этом, и он ответил, что взят в долг у владельца, который уехал в Приорск и вернётся не раньше снега. Замок был старый, английский, и открылся с первого оборота: Дорн умел открывать замки так, как другие здороваются.

Вниз вела каменная лестница в девятнадцать ступеней — Вера считала всегда, потому что счёт ступеней однажды спас ей жизнь. На девятнадцатой пахнуло не плесенью, как положено подвалам, а камнем и железом: холодным, чистым, как гильза.

— Останьтесь здесь, — сказал Дорн. — Пять шагов прямо, не больше. Дальше я зажгу.

Он зажёг две свечи, и свет пошёл по подвалу медленно, как вода в тарелке. Подвал был не подвал. Стены стояли кладкой в мраморную плиту, швы были тоньше волоса, и по швам, ровно через локоть, шёл ряд выбитых точек — сорок точек, и сорок первая, глубокая, отдельно. В торце, над заложенной кирпичом аркой, вмуровали медную доску размером с дверцу печи.

Вера подошла и стала читать.

Читать было можно, потому что читать было нечем: письмен кальдаров расшифровали в девятьсот четырнадцатом, на ней самой, на втором курсе, по хрестоматии Дорна. Верхние строки были молитвой ветру, Вера пропустила их и пошла ниже, где шла счётная строка. Точки на доске шли сверху вниз, столбиком, и у каждой точки стояло число.

— Это не орнамент, — сказала она. — Это порядок. Сорок отметок и одна лишняя, глубокая. Арифметика с весом: точки разной глубины — разные доли.

— Продолжайте, — сказал Дорн. — Вы никогда не были осторожны с хорошими мыслями. Это ваша лучшая черта и ваш единственный порок.

— Сорок отметок, — сказала Вера. — Сорок точек на камне, сорок точек в подвале гостиницы. Вы спросите, зачем я их считала? Я их считала всю жизнь, Ксаверий Львович. Отец ваш... — она осеклась.

— Говорите.

— Отец ваш носил ту же карту в уме, — сказала Вера ровно. — Вы рассказывали на лекциях про сорок глоток Горы. Про то, что камень поёт. Вы рассказывали это тогда, в девятьсот двенадцатом, а мы все смеялись в зале, и я смеялась первая, потому что мне было девятнадцать лет и я не знала, что вы не шутите.

Дорн молчал. Свечи дрожали, и тени точек на стенах качались, и Вере показалось на одну секунду, что качается сам камень.

— Я не шутил никогда, — сказал Дорн наконец. — Но быть правым в девятьсот двенадцатом году значило быть смешным. Я выбрал быть смешным и живым. Ваш отец выбрал иначе, и вы знаете чем кончилось. Спуститесь на пять шагов и приложите трубку к полу, у третьей точки от арки. И скажите мне, что вы слышите.

Вера отсчитала пять шагов, легла на локоть, приложила слушалку.

Под полом, глубоко, на самой границе слышимости, дышала вода. Не стояла — дышала: медленный, тягучий ход взад-вперёд, как море в узкой бухте. И вместе с ходом шла нота. Низко, старо, ровно — как поёт натянутая проволока, когда ветер находит её точный лад.

— Прилив, — сказала Вера. — Вода ходит приливом под землёй.

— Да.

— Отчего?

— Оттого, что её качают, — сказал Дорн. — Девятьсот лет её никто не качал, и она всё равно ходит. Понимаете, что это значит? Это значит, что машина не умерла. Она спит. И её можно разбудить.

Вера поднялась, отряхнула колено и посмотрела на Дорна так, как смотрят на человека, от которого зависит четверть миллиона рублей и четыре тысячи жизней.

— В девятьсот двенадцатом вы говорили это в аудитории, — сказала она. — А в девятьсот четырнадцатом ваш ребёнок умер в Нарыме, и вы перестали говорить даже то, что умели. Теперь вы говорите снова. Что изменилось?

— Пришли деньги, — сказал Дорн просто. — И пришла вода. Дитя моё, концессии не нужны ни ваши шутки, ни мои песни. Им нужен счёт. Кальдары умели то, чего не умеет ни один завод в мире: качать воду ветром. Не паром, не углём — ветром. Сорок рупоров в Горе, сорок глоток, — и вода идёт вверх против всех законов, которые вы учили. Я двадцать лет ищу человека, который сможет это услышать и пересчитать. И вот она — на конечной станции, ночью, в сапогах, лежит на шпале.

— Вы предлагаете мне работу?

— Я предлагаю вам имя, — сказал Дорн. — Гидрогеологический очерк, который Бриг хочет получить к первому ноября, — это бумага. А это будет открытие. Ваше. Не моё: я стар, мне нужны только деньги и камень. Ваше — Веры Петровны Стрешневой.

— На каких условиях?

— Пятьсот рублей в месяц. Свой вагон-лаборатория. Полная воля в опытах. И одно обещание: что бы вы ни услышали в Горе, вы отдаёте мне первую запись. Копию — Бригу, оригинал — мне.

— Зачем вам оригинал?

— Затем, что оригиналы подделывают, — сказал Дорн и посмотрел на неё поверх свечи. — А копии — никогда.

Вера стояла и считала. Она умела считать быстро и не любила этого умения, потому что чаще всего приходилось считать цену. Пятьсот рублей в месяц — это шесть лет подряд бывать в архивах и не думать о дровах. Свой вагон. Имя. И Дорн — рядом, живой, с сорока точками, с машиной, которую можно разбудить.

Отец погиб в девятьсот шестнадцатом в обвале на руднике, где искал воду для прииска. В обвале, который никто не сумел объяснить, и по которому никто не сумел посчитать. Если

в Кальдаре можно посчитать воду, которую качают ветром девятьсот лет, — это стоит любого риска. Не для концессии. Для ведомости, которая наконец перестанет быть ложью.

— Хорошо, — сказала Вера. — Я веду изыскание. Оригинал — вам. Но при одном условии, Ксаверий Львович.

— Слушаю.

— Если я скажу «стоп» — мы останавливаемся. Как бы вам ни было дорого. Вы меня учили: камень не прощает торопливых. Дайте мне слово.

Дорн посмотрел на неё долго. В свете свечи было видно, как под глазами у него лежат два мешка, старых, глубоких, как шурфы.

— Слово, — сказал он. — Иди спать, дитя моё. Завтра начинаем.

* * *

Утром, в девятом часу, Вера спустилась во двор гостиницы, где стояли два грузовика, и нашла того, кто ей был нужен.

— Пахом Ильич? — спросила она.

— Он самый, — ответил шофёр. Он сидел на подножке, чистил соль с борта тряпкой, и за его спиной, в кабине, висела клетка с канарейкой. Грузовик был серый, облупленный, с заплаткой на крыле, из тех «полуторок», что возят не груз, а судьбу. — Вы к которому грузовику? К моему или к тому, что от конторы?

— К вашему. Мне в Гору и обратно. Дорого?

Пахом сплюнул под колесо и посмотрел на неё с интересом, как смотрят на редкое насекомое.

— В Гору? — переспросил он. — Вы, барышня, читали вывеску? «В Гору никто не ездит». Ездят туда двое: одни — за солью, другие — за счастьем. Первые возвращаются, вторые нет.

— Вы к каким относитесь?

— Я к третьим, — сказал Пахом. — Я к тем, кто ездит за деньгами. По литре керосину — двадцать рублей. По бездорожью — тридцать. По бездорожью в сары-ел — сорок, но сары-ела я не жду, он в октябре. Воду брать будете свою или мою?

— Вашу. Кто вас научил так варить чай?

— Соль, — сказал Пахом с достоинством. — Соль в чай — не ради вкуса, а ради пота. Пота в Кальдаре не жалеть надобно, а соли и подавно. Канарейку трогать не смейте, она у меня на службе. Тишка! — сказал он клетке. — Служба!

Канарейка сказал «пить» и села на жёрдочку.

— Возьмёте? — спросила Вера.

— А вы кто такова, что в Гору едете? — спросил Пахом вместо ответа. — Инженерша? Слушающая?

— Слушающая.

— Тогда поеду, — сказал Пахом неожиданно. — Тридцать рублей. Слушающую довезу и без двадцати, но вы, значит, послушаете мою «Клавдию», а то она с осени поёт не тем. Первый цилиндр, — добавил он конфиденциально. — Нота садится.

Вера села на подножку, приложила слушалку к капоту и послушала. Мотор работал ровно, глухо, с металлическим зудом, и на седьмом такте в нём, и правда, садилась нота — на четверть тона, не больше.

— Зазор в седьмом подшипнике, — сказала она. — Возьмите у Брига проволоку потоньше и дайте мне десять минут на станции.

Пахом посмотрел на неё, потом на канарейку, потом на небо.

— Клавдия, — сказал он машине. — Не всякая девка, а верная. Везём.

* * *

Вечером, когда Вера уже собирала образцы в ящик, Дорн пришёл к ней в номер, и лицо у него было то, которое она запомнила на всю жизнь: виноватое и весёлое одновременно, как у человека, уносящего чужой стул.

— Возьмите, — сказал он и положил на стол портсигар из слоновой кости. — Он мне не нужен. Курить я бросил в Нарымске.

— Зачем он мне?

— Затем, что в нём есть то, что вы должны увидеть, — сказал Дорн. — Откройте крышку.

Вера открыла. Внутри был табак — старый, рассыпавшийся, с лавровым листом, — а на внутренней стороне крышки, тонко, чужой рукой, была вырезана надпись. «1916. П. И. Стрешневу — за честные цифры. К. Л. Д.»

Девятьсот шестнадцатый. Стрешнев. За честные цифры.

— Это его почерк, — сказала Вера. — Отец вырезал это сам. Я узнаю руку.

— Он вырезал это в поезде, в декабре пятнадцатого, когда мы ехали на рудник, — сказал Дорн спокойно. — Он был мой лучший счётчик, дитя моё. Он умел слушать лучше меня и верить хуже меня. Оба качества вас, я вижу, достались ему.

Вера закрыла портсигар. Рука у неё была ровная, и это было ей отвратительно: в такие минуты положено, чтобы рука дрожала, а она стояла, как инженерная.

— Вы мне его дарите?

— Нет, — сказал Дорн, вставая. — Я его вам даю на сохранение. Иверня — камень упрямый: хранит то, что в него положили. Когда найдёте ту воду, которую искал ваш отец, отдадите обратно. А пока — берегите, он вам пригодится. С портсигаром, дитя моё, не расстаются: в нём память.

— Чья?

— Ваша, — сказал Дорн. — А теперь идите спать. Завтра у нас с вами много работы, и первая из них — научиться не бояться Горы. Остальное — дело техники.

* * *

Ночью Вера вернулась в подвал одна, с камертоном, коробкой карандашей и двумя свечами.

Хозяин гостиницы был в Приорске, сторож спал, и Дорн, зажёгший ей путь часом раньше, ушёл, как уходили учителя: остаться он не умел, присутствовать мешал. Вера сняла сапоги, чтобы ступать глухо, и прошла по камню босиком — камень был холодный, ровный, как замёрзшая вода.

Она работала два часа.

Сорок точек она прошла по порядку, ударяя камертоном о камень в сантиметре от каждой и слушая, как отвечает стена. Ответ был не одинаковый. На первых тридцати точках камень отвечал вразнобой, как отвечает стена в доме, где дышат люди, — всякая своя нота, всякая со своим остаточным гулом. Но с тридцать первой точки ответы начали сходиться, сбиваться в одну сторону, как стрелки гуляющих часов, которые в полночь вдруг идут ровно, и на сороковой точке стена ответила той же самой нотой, что слышалась ночью под полом, — низко, глубоко, с тем самым долгим хвостом.

Вера записала сорок ответов в колонку, поставила против каждого глубину выбитой точки и сложила. Число не сходилось. Она сложила снова, уже карандашом, столбиком, как учил отец: сходилось, но не в ту сторону, и она поняла, что глубина точек — не вес, а расстояние: точки наносили не вес, а удалённость рупоров, сорок глоток, разбросанных по горе от дороги до неба.

— Выход, — сказала она вслух, и камень не ответил, и ей стало легко оттого, что камень молчит, когда молчать положено.

На тридцать третьей точке, на высоте ладони, был ещё один знак, мелкий, который она днём пропустила: ладонь с растопыренными пальцами, залитая в медь, — не значок, а знак

остановки. У кальдаров такой ладонь метили те места, где камень держит воздух, а не воду: не ходи, не стучи, не буди.

Вера приложила к знаку палец и убрала палец.

«Один раз откличешь — и всё, пошёл за тобой», — сказал соляной старатель на приступке. Вера не верила старателю, как не верила ни в сглаз, ни в чудеса. Но она поверила знаку: знаки не пугают, знаки предупреждают, а предупреждают только те, кто знает, где опасно.

Она записала и знак — в примечании, сухо, по-инженерному: «знак-запрет, назначение неизвестно, встречается один раз» — и потушила свечи.

Наверху, в номере, она досидела до рассвета, разбирая колонку чисел, и за окном светлело так медленно, как светлеет над солью: не светает, а сравнивается — темнота и соль становятся одного цвета.

Кузьмин

К утру Вера вышла из номера в сапогах, не зашнуровав левый, и так дошла до складов, с болтающимся концом шнурка. Ночь над колонкой из сорока чисел не дала ей ни вывода, ни сна: числа складывались не в глубину, а вбок, и вбок лежала дорога, которой на карте не было. Улицы к озеру стояли пустые, соль скрипела под подошвами, как свежий снег, только жара давила уже до солнца.

Склады начинались за варницами. Трое рабочих сидели на штабеле мешков и курили, и дым их в этом свете шёл двумя цветами — серым и белым. Вера спросила, где лежит человек. Ей махнули на дальнюю варницу, за которой торчал низкий, криво вбитый в земляной борт дощатый вход.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.